

О взаимосвязи между политическим языком и политической реальностью¹

Попивая дешевый джин – единственный источник тепла в обшарпанном баре «Мехико-Сити», расположенном в мрачном районе Амстердама, окутанном туманом, поднимающимся над каналами, иронический судья на покаянии из романа Альбера Камю «Падение» Жан-Батист Кламанс говорит своему соотечественнику: «Надо же, чтобы за кем-то оставалось последнее слово. А то ты скажешь слово, а тебе в ответ два, так спор никогда и не кончится. Зато уж власть живо оборвет любые пререкания. Далеко не сразу, но все же мы поняли это. Вы, я полагаю, заметили, что наша старуха Европа стала наконец рассуждать так, как надо. Мы уже не говорим, как в прежние наивные времена: “Я думаю так-то и так-то. Какие у вас имеются возражения?” У нас теперь трезвые взгляды. Диалог мы заменили сообщениями: “Истина состоит в том-то и том-то. Можете с ней не соглашаться, меня это не интересует. Но через несколько лет вмешается полиция и покажет вам, что я прав”».

Методы контроля по-прежнему остаются не столь совершенными – представители правоприменительных органов легко узнаваемы, а принуждение слишком очевидно. Иначе обстоит дело в «1984» Оруэлла. Как говорит Сайм, чудовищный разрушитель языка: «Это прекрасно – уничтожить слова». Обращаясь к главному герою романа Оруэлла Уинстону Смиту, Сайм продолжает: «Неужели вам непонятно, что задача новояза – сузить горизонт мысли? В конце концов мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным – для него не останется слов. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним-единственным словом, значение слова будет строго определено, а побочные значения упразднены и забыты... С каждым годом все меньше и меньше слов. Все уже и уже границы мысли. Разумеется, и теперь для мыслепреступления нет ни оправданий, ни причин. Это только вопрос самодисциплины, управления реальностью. Но в конце концов и в них нужда отпадет. Революция завершится тогда, когда язык станет совершенным».

¹ Jean Bethke Elshtain. Real Politics: At the Center of Everyday Life. Baltimore: The Johns Hopkins UP, 1997, pp. 47–55.

Какие наклонности, какие эпистемологические и политические пристрастия, какие структурные особенности нашего современного мира способствуют осуществлению целей оруэлловского Сайма, сужая диапазон мысли, упрощая и огрубляя наше моральное восприятие реальности? Я сосредоточу основное внимание на возможных вариантах ответа, предложенных Лассуэллом или Оруэллом или же представленных — возможно, неосознанно — в работах каждого из них. И для начала я рассмотрю проблему тотального государства как ведения войны другими средствами.

Оруэлл и Гарольд Лассуэлл приходят к одним и тем же выводам относительно тоталитарного потенциала и даже наклонностей современного государства. Оба указывают силы, которые подрывают демократию. В своей статье «Военная диктатура и специалисты по насилию» Лассуэлл говорит о мире, в котором «специалисты по насилию выступают в качестве наиболее влиятельной группы в обществе», и рисует образ высоко мобилизованного государства с принудительным трудом, надзором, пропагандой, манипуляцией символами, контролем над прессой, плебисцитным голосованием, упразднением партий или однопартийной системой и постоянным нагнетанием военной паники, помогающим сохранить систему невредимой. В запрещенном тексте Эммануэля Голдстейна, «врага народа» в «Океании», говорится, что война, став непрерывной, существенно изменила свой характер: война — это наиболее важный продукт государства и государство должно поддерживать и совершенствовать «ментальность, соответствующую состоянию войны... Поэтому само слово “война” вводит в заблуждение. Мы, вероятно, не погрешим против истины, если скажем, что, сделавшись постоянной, война перестала быть войной»: такова теория и практика олигархического коллективизма, изложенная Голдстейном.

Война, конечно, всегда была одной из основных функций и прерогатив государства. Но что-то изменилось, причем не в лучшую сторону. Нам следует, по-видимому, рассматривать не только проявления насилия в международных отношениях и навязанные способы их рассмотрения, чтобы понять феномен «ложного мира», когда государство вооружается до зубов и вырабатывает абстрактную ненависть к абстрактному врагу, но и устройство самих современных технократических обществ. Нам, привыкшим к «истинам» и обстоятельствам, которые помогают нам рассуждать о войне, и живущим в вооруженном мире, утверждение Нормана Майлера о том, что «основная цель» современного общества состоит в продолжении армии другими средствами, сделанное им в 1948 году, вовсе не кажется чем-то невероятным. Мишель Фуко говорит о том же: «[политику] рассматривали как продолжение если не собственно и непосредственно войны, то по крайней мере военной модели как основного средства предотвращения гражданских смут. Политика как техника установления внутреннего мира и внутреннего порядка стремилась применить механизм совершенной армии, дисциплинированной массы, послушного и полезного войска». И, как утверждает Оруэлл, политическая жизнь, даже в демократических странах, стала подражать военной борьбе с появлением рассуждений о классовых врагах или образов апокалиптической борьбы с долгожданным или чудовищным концом. Ирвинг Хоу в статье под названием «1984: Загадки власти», спустя десятилетия после выхода романа Оруэлла, справедливо написал: «Мы прошли долгий путь по привыканию к идее тотального госу-

дарства, когда теперь оно стало казаться всего лишь одной из имеющихся возможностей».

Однако Гарольд Лассуэлл, несмотря на свое описание военной диктатуры, сохраняет хрупкую надежду. «Друг демократии», — пишет он, — «смотрит на установление военной диктатуры с неприязнью и опасением». Однако — и это довольно выразительное «однако» — если военная диктатура окажется неминуемой, «другу демократии следует стремиться сохранить как можно больше ценностей в общей системе нового общества». И какие демократические ценности могут быть сохранены? Лассуэлл говорит о мобилизации населения, связанной с понятием военной диктатуры. В своем требовании участия всех и каждого, за исключением низших слоев, военная диктатура не противоречит демократическим представлениям о человеческом достоинстве, если речь идет о потребности и желании поступать на благо общества. Поскольку Лассуэлл рассматривает демократию с формальной точки зрения (как возможность участия большинства), его не мучат дурные предчувствия Оруэлла. Во время своей недавней предвыборной кампании Джесси Джексон часто повторял: «При рабстве у всех была работа» — суть в том, что самой по себе работы на благо общества недостаточно, если дело касается демократии или человеческого достоинства в собственном смысле слова. Здесь инструменталистское представление о политике у Лассуэлла вступает в противоречие с заботой о людях и демократии.

Лассуэлл хочет, чтобы правление было научным, и придерживается идеи о том, что политическая наука должна соотноситься с демократией точно так же, как «медицина с биологией». Оставляя в стороне сложности, связанные с этой медицинской метафорой, наиболее сомнительным в представлениях Лассуэлла о политической науке оказывается самонадеянный поиск «более совершенного инструментария». Он призывает «постоянный корпус научных сотрудников» заняться созданием более подходящих инструментов демократического «контроля» — термины, которые в паре образуют оруэлловский оксюморон.

Отношение политического языка к политической реальности, с точки зрения Лассуэлла, должно стать более совершенным. Здесь у Лассуэлла все предельно ясно. «Язык — это инструментальная власть», и сама по себе власть определяется инструментально. Нам необходимо использовать язык, чтобы покончить с языком — с двусмысленным языком, который делает тщетными попытки «постулировать определения» и озвучить «операциональные правила». Увы, такое представление о языке не позволяет предотвратить угрозу, о которой говорит Лассуэлл и с которой, по его мнению, нам однажды придется смириться, — военную диктатуру. В действительности, Лассуэлл — и эта критика в равной степени относится также к Оруэллу — не в состоянии адекватно оценить телеологию контроля, связанную с самой идеей беспрепятственного технологического «прогресса». Улучшая возможности прогнозирования, планирования и управления ростом производительности и призывая к «техническому» решению «технических» проблем, многие мыслители и активисты, считающие себя демократами, играют на руку силам, которые представляют угрозу демократии в долгосрочной перспективе, углубляя и легитимируя дух расчета и эксплуатации, присущий научному, инструментально-рационалистическому мировоззрению.

У Оруэлла имеется несколько высказываний по этому поводу. К примеру, он видел в государственной поддержке науки попытку поставить ее «на службу идей, соответствующих каменному веку». Но, конечно, такое толкование ошибочно. Наука, технология и технологический язык служат осуществлению задач, которые могли возникнуть только в таком мире, где другие — люди, природа и вообще все — считались простыми ресурсами: этот комплекс идей получил наиболее полное выражение только в современную эпоху, а никак не в «каменном веке». Имеется ряд структурных особенностей, свойственных всякой централизованной высокоразвитой и концентрированной экономике, которые были описаны Йоханом Штрассером в статье «1984: Десятилетие экспертов?» К ним относятся: ускорение централизации в политической системе; расширение рынка на все более широкие области жизни при помощи сложных стратегий; включение новых областей жизни в сеть технологического аппарата; проведение политической программы, углубляющей разрыв между «экспертами», которым известно, как сохранить сложившееся положение вещей или легитимировать свою власть, и «профанами», которые не способны понять и, следовательно, составить собственное мнение о происходящем. Когда Лассуэлл определяет и сводит *homo politicus* к *homo psychologicus*, которому свойственна рационализация частных мотивов и их перенос на публичные объекты, когда он превращает потребность во власти в некую неизбывную жажду, и, что более важно, когда он призывает к «правлению экспертов», он выступает за передачу политики в руки открыто антидемократических сил.

С Оруэллом не все так просто. Далее я рассмотрю сложности, связанные с отношением между политическим языком и политической реальностью — и войной как отправной точкой. Оруэлл призывает к тому, что один из критиков назвал «доктриной простой репрезентации» как способом борьбы с вырождением языка, ставшим одной из составляющих более широкой деформации социальной и политической жизни. Оруэлл разделяет тягу Лассуэлла к простоте языка и ясности обозначения. Он также готов покончить с «бессмысленными словами» («романтичный, пластичный, ценности, человеческий, мертвый, сентиментальный, природный»), которые относятся к языковому мусору. Но различие между ними — очень важное различие — связано с тем, что у Оруэлла этот императив существует наряду с экспрессионистскими требованиями эстетики письма, которую он отстаивал перед всеми ее очернителями. Язык, по Оруэллу, должен служить задаче «насыщенного описания»; писатель должен использовать слова, достаточно яркие и убедительные, чтобы сообщать зачастую неприятные истины.

Оруэлл отмечает эпистемологическую сложность, связанную с тоталитаризмом — миром абсолютного государства, в котором нет никаких автономных референтных групп и общезначимых вещей. Для правления в Океании важно, чтобы за пределами субъективистской тюрьмы человеческого сознания не существовало никакого общепризнанного мерил или ориентира. Человек должен верить тому, что ему скажут, не просто потому, что государство контролирует всю информацию, а потому, что язык — и в этом смысле АНГСОЦ как предвестие совершенства новояза — делает невозможным «всякое описание споров о всякого рода различиях». Двоемыслие, как отмечает Марк Криспин Миллер в «Судьбе “1984”», «делает разногласия совершенно немислимыми,

сводя всякое противоречие, всякое возможное возражение или опровержение к своей неопровержимой логике». Точно так же, как партийная униформа делает все тела одинаковыми, язык устраняет разногласия. Майкл Уолцер говорит, что «ментальные привычки, свойственные приверженцам АНГСОЦ», «делают все остальные образы мысли невозможными» — и речь идет не только об открыто оппозиционной политической мысли, но и об «иронии, сарказме, пародии, сомнении». Контроль над обществом приводит к контролю над языком и их взаимному совершенствованию.

Даже в этих комментариях недооценивается эпистемологическая проблема тотального государства и «карцерного» общества, описанного Оруэллом в «1984». Он просит нас представить — и в этом нет ничего невероятного — мир, в котором воспоминания перестают быть формой знания. «Если партия может запустить руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что *Ego* никогда не было, — это страшнее, чем пытка или смерть... Он, Уинстон Смит, знает, что Океания была в союзе с Евразией всего четыре года назад. Но где хранится это знание? Только в его уме...» Контроль над реальностью, двоемыслие. Все можно изменить. Ничто не вечно. Ничего нельзя доказать. Очевидное документальное подтверждение фальсификации исторического факта, которое Уинстон Смит держал в своих руках, исчезло в дыре в памяти. «Все расплывается в призрачном мире. И даже сегодняшнее число едва ли определишь».

Диким и систематическим нападкам подвергается не просто обоснованность индивидуального опыта, а «само существование внешней реальности». Ибо если внешний мир «существует только в сознании», а сознанием можно управлять — что тогда? Действительно, что тогда? Сложные «факты», события, процессы или отношения перестают быть самоочевидными. Нам необходима «общественная область, в которой очевидное может обсуждаться и воспроизводиться», утверждает Бернард Авишаи. Без стандартов сравнения, без связи с прошлым, все можно изменить, все перестает быть по-настоящему реальным.

Точно так же, как отдельные понимания зависят от контекста и социального пространства, области внешнего и видимого, где мы можем скрыться от самих себя, отдельные проявления преданности и сама их возможность зависят от подобного социального «пространства». Знание — это угроза, и потому оно становится невозможным в «1984». Та же судьба ждет *любое* конкретное проявление преданности или приверженности — идеалу, обществу, члену семьи, другу или религиозной вере, — и от них не должно остаться и следа. Любовь к одному человеку представляет наибольшую угрозу порядку Океании, и потому нападки на семью свойственны абсолютному государству и тоталитарному обществу. Когда мы лишены уз, которые помогают нам сохранить свое собственное «я», нас проще превратить в питательную почву порядка. Ни публичное пространство, допускающее споры и проверку сложных истин, ни частное пространство живой конкретной индивидуальности невозможны в Океании.

Недифференцированная преданность и расплывчатые призрачные тени, которые слывут реальностью, — такую страшную картину рисует Оруэлл. Хуже всего, говорит он, не то, что мы ближе к этому миру, чем думаем, а то, что тоталитарные идеи «пустили корни в умах интеллектуалов повсюду», что современная интеллектуальная культура движется к угнетающей ортодоксии. Основными мишенями Оруэлла были «друзья тоталитаризма» — правые или левые —

в его собственной стране, которые перешли от масштабной релятивизацией истины — нам неизвестно, что произошло на самом деле, поэтому мы не можем критиковать — к безответственному выводу о том, что «большая ложь не хуже малой лжи». Опасаясь осуждения со стороны общественного мнения своей собственной группы, интеллектual боится, что к нему приклеят ярлык — реакционный, буржуазный или антипрогрессивный, и приводит свои мысли и слова в соответствие с мнением группы. Недифференцированная преданность Старшему Брату предполагает и его восхваление.

Чем подкрепляет Оруэлл свои трезвые размышления? Он указывает на снижение качества политической речи, эвфемизмы, отказ от рассмотрения сложных вопросов, многое из того, что создавалось и распространялось псевдоинтеллигенцией во время войны, да так и осталось в сознании после ее завершения. К примеру, «беззащитные деревни бомбят с воздуха, местных жителей выгоняют в поля, скотину расстреливают из пулеметов, дома поджигают зажигательными пулями: и это называют умиротворением». Примеры можно множить. Кислотный дождь становится «недостаточно чистыми осадками». Или, во время инцидента на «Тримайл-Айленд»², поразительной была неспособность представителей комиссии по атомной энергии четко и ясно сказать о том, что же произошло на самом деле. В своей статье «Отвечать за слова» Уэнделл Берри описывает членов комиссии, говорящих на техническом языке и отказывающихся отвечать на простые вопросы, — и это притом, что речь шла об аварии и страшной опасности для многих людей. При всей абсурдности планирования в чрезвычайных обстоятельствах и идеи «управления катастрофой» группа интеллектуалов, отвечающих за других людей, не смогла признаться, что положение на самом деле никем не контролируется и что катастрофы не избежать.

Теперь этот привычный образ мысли, письма и речи, укрепляющий силы контроля и несвободы, о котором предупреждал Оруэлл, может быть назван «абстрактностью, лишенной всяких ассоциаций». Ханна Арендт в своей работе «О насилии» утверждает, что сотни мозговых центров, университетов и правительственных чиновников оказывают поддержку усилиям «научных сотрудников “мозговых центров”», которых следует критиковать не за то, что они задумывают немислимое, а за то, что «они вовсе не *думают*». Если присмотреться, изнанкой гиперрационализма и фетиша контроля оказывается абсурд, гарантирующий, в свою очередь, ослабление способности мыслить и действовать реалистически.

Согласно Арендт, опасность заключается в следующем: мир самоподтверждающихся теорем со своим ограниченным и уклончивым языком способствует появлению фантазий о контроле над событиями, которым мы на самом деле не обладаем. Эта «сциентизация» дискурса, к примеру, в международных отношениях приводит к забвению сильных сторон классических реалистов, включая осознание неизбежности событий и признание того, что отношения между государствами предполагают определенную степень отчуждения. Но извращенный язык — извращенный потому, что он больше не в состоянии поддерживать связь со своим предполагаемым объектом, — сводит государства и отношения между

² Речь идет об аварии на американской АЭС «Тримайл-Айленд», которая произошла 28 марта 1979 года в 16 километрах от столицы штата Пенсильвания. — *Прим. перев.*

ними к моделируемым играм. Рассмотрим следующее описание Западной Европы на языке одного стратегического аналитика, опасно удаленного от своего предполагаемого дискурсивного объекта: «Западная Европа, подобно Южной Корее, географически представляет собой полуостров евразийского континента, со стороны которого значительные военные контингенты могут за относительно небольшой промежуток времени осуществить вторжение на этот полуостров». Западная Европа сводится к недифференцированной податливой территории, она входит в теоретические планы в виде «расходного материала».

«Если основной жертвой в войне оказывается правда, то другой — неоднозначность», отмечает Пол Фассел, и в наследство от войны остается «привычка к простому разграничению, упрощению и противопоставлению». Мобилизационный язык и тупиковая бинарная риторика военного времени могут сохраняться и оказывать серьезное влияние на наше мышление. Политическая риторика усваивает язык и требования военного времени. Основная задача государства во время войны состоит в том, чтобы изображать врага как можно более расплывчатым и абстрактным, чтобы различать убийство врага и убийство невинного человека. Речь всегда идет о «враге», псевдоконкретном всеобщем. Этот моральный абсолютизм конституируется при помощи языка и никак иначе. Нас призывают к безграничной ненависти и говорят (во время войны), что так и должны поступать добропорядочные граждане.

Парадоксальным образом война одновременно ведет к деконструкции абстрактной военной риторики, и солдаты заново открывают конкретное трагическим и пугающим образом. Например, главный герой романа Эриха Мариа Ремарка «На западном фронте без перемен» закалывает в бою французского солдата, который в панике запрыгнул в окоп рядом с ним, ища убежище. Когда, наконец, через четыре часа француз умер в агонии, герой Ремарка, к которому вернулась способность воспринимать и судить конкретно, обращается к убитому им человеку: «Товарищ, я не хотел убивать тебя... Но раньше ты был для меня лишь отвлеченным понятием, комбинацией идей, жившей в моем мозгу и подсказавшей мне мое решение. Вот эту-то комбинацию я и убил». Поскольку теперь можно убивать «врага», не видя его, абстрактная ненависть может и не вступать в трения с конкретным. Мы можем оставаться в области языка, лишённого всяких ассоциаций. Оруэлловский Голдстейн замечает в «1984», что война всегда была «стражем здравого рассудка», потому что отдельные войны можно было проигрывать или выигрывать, но ответственность за это всегда возлагалась на правящие классы. Но в эпоху непрерывной войны, в сумрачной зоне тайных операций дело обстоит иначе. Конечно, этот ужасающий образ кажется далеким от нашей действительности, но Оруэлл предостерегает нас, что склад ума, который может привести к воплощению этого образа, уже существует в нашей реальности.

Оруэлл предупреждает нас о том, что бывает, когда слова утрачивают смысл, потому что не существует больше никакого общего мира, но что он противопоставляет этому складу ума и существующему языку? Чтобы сохранить отличие и индивидуальность и быть терпимыми, необходимо использовать и воспитывать язык, который способствует распространению демократических ценностей. Следует сопротивляться ортодоксии, «какого бы цвета она ни была». Следует указывать на искажения в языке и использование нравст-

венно безразличных эвфемизмов. Следует радоваться существованию сложных различий в английском языке, ибо благодаря ему мы можем писать то, что думаем, и быть самими собой. Уинстон Смит в самом начале своего запрещенного дневника напоминает нам о смысле свободы. «Будущему или прошлому — времени, когда мысль свободна, люди отличаются друг от друга и живут не в одиночку, времени, где правда есть правда и бывшее не превращается в небыль. От эпохи одинаковых, эпохи одиноких, от эпохи Старшего Брата, от эпохи двоемыслия — привет!» В новоязе для этого есть слово «саможит», которое означает индивидуализм и чудачество.

Оруэлл защищал «саможита». Тем не менее, его собственного тезиса о том, что «хорошая проза подобна оконному стеклу», его прославления «доктрины простой репрезентации» недостаточно для достижения наиболее чаемых Оруэллом целей — и его собственные великие статьи и репортажи не отвечают указанным требованиям. Конечно, именно Оруэллу мы бесконечно обязаны тем, что он поднял «важный для всякого общества вопрос... вопрос о нашей социальной ответственности как носителей языка». Тем не менее, сам Оруэлл не доверял словам — не только «вздорным», но и эмоциональным, имеющим большие возможности. Он боялся словесного убеждения, а не просто и не только принудительного и манипулятивного использования языка. Не доверяя словам как средствам передачи значения и поддержания «реальности», Оруэлл останавливается на опасностях утаивания и искажения.

Но в своей борьбе за ясность он прибегает к серьезным упрощениям. Он говорит, что нельзя всегда называть вещи своими именами. Обычно все гораздо сложнее. На самом деле общепринятые языковые различия могут сглаживать или отрицать несходство. Одна из идей феминисток, озобоченных вопросами языка, к примеру, заключается в том, что кажущееся очевидным различие между мужским и женским в действительности не так уж очевидно. Это языковое различие может скрывать реальные и важные несходства, которые не удастся увидеть при помощи общепринятых слов. Но здесь возникает другая проблема, связанная с полностью противоположными теориями языка. В этом случае, упрощая, достаточно сказать, что слова часто бывают неясными, неоднозначными, скрывающими нечто — и не потому, что кто-то увиливает или что носитель языка мыслит небрежно, а потому что сама реальность по большому счету не заботится о здравом смысле. В своей борьбе против злоупотребления языком и ролью языка в политике злоупотреблений Оруэлл иногда переоценивает желательность и возможность прозрачной прозы.

Но он оставляет нам незабываемые образы — политическими портретами в прозе, которая должна пугать нас, — не для того, чтобы мы бездействовали, а для того, чтобы мы были бдительными. О'Брайен говорит измученному и сломленному Уинстону Смиуту: «Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно». Камю утверждал, что несерьезно осуждать пессимистическую картину за ее мнимое пораженчество. В эпоху, когда не так уж просто отличить изумительное от ужасного, потому что все так быстро меняется, прочно стоять обеими ногами на земле куда важнее, чем витать в облаках навязанного языком исторического триумфа. Это было понято и выражено Оруэллом при помощи языка, отточенного на ужасах истории нашего столетия.